



НИКОЛАЙ
БЕРДЯЕВ

Николай Бердяев

**О рабстве и свободе
человека**

«Человек есть царь и раб...
Я вижу три состояния
человека... которые можно
обозначить как «господство»,
«рабство» и «свободный господин».
И раб... не может быть
другим без... да...
...
...
...
...»



Николай Бердяев

Сборник статей Н. Бердяева

«Public Domain»

Бердяев Н. А.

Сборник статей Н. Бердяева / Н. А. Бердяев — «Public Domain»,

В книге собраны статьи российского философа Н Бердяева, напечатанные в российской и зарубежной прессе. Статьи посвящены православию в меняющемся мире, попытке осмыслить позицию православия по отношению к католичеству и протестантизму. В статьях поднимаются проблемы самоубийства и «Церковного национализма». Н Бердяев говорит о пути развития России и о том стоит ли выбирать между коммунизмом и демократией? И даёт ответы, что такое загадочная русская душа и что такое российское сознание.

© Бердяев Н. А.

© Public Domain

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Сборник статей Н. Бердяева | 5 |
| О фанатизме, ортодоксии и истине | 5 |
| О самоубийстве | 11 |
| I | 11 |
| II | 13 |
| III | 15 |
| IV | 21 |
| Истина Православия | 26 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 31 |

Сборник статей Н. Бердяева

О фанатизме, ортодоксии и истине

Тема о фанатизме, связанная с приверженностью к ортодоксальным учениям, очень актуальна. История ритмична, в ней огромную роль играет смена психических реакций. И мы вступаем в ритм, когда преобладает направленность к принудительному единству, к обязательной для всех ортодоксии, к порядку, подавляющему свободу. Это есть реакция против XIX века, против его свободолюбия и человечности. Вырабатывается массовая психология нетерпимости и фанатизма. При этом нарушается равновесие и человек допускает себя до маниакальной одержимости. Индивидуальный человек делается жертвой коллективных психозов. Происходит страшное сужение сознания, подавление и вытеснение многих существенных человеческих черт, всей сложности эмоциональной и интеллектуальной жизни человека. Единство достигается не через полноту, а через все большую и большую ущербленность. Нетерпимость имеет родство с ревностью. Ревность есть психоз, при котором теряется чувство реальностей. Душевная жизнь опрокидывается и фиксируется на одной точке, но та точка, на которой происходит фиксация, совсем не реально воспринимается.

Человек, в котором нетерпимость дошла до каления. фанатизма, подобно ревнивцу, всюду видит лишь одно, лишь измену, лишь предательство, лишь нарушение верности единому, он подозрителен и мнителен, всюду открывает заговоры против излюбленной идеи, против предмета своей веры и любви. Человека фанатически нетерпимого, как и ревнивца, очень трудно вернуть к реальностям. Фанатик, одержимый манией преследования, видит вокруг козни дьявола, но он всегда сам преследует, пытается и казнит. Человек, одержимый манией преследования, который чувствует себя окруженным врагами, – очень опасное существо, он всегда делается гонителем, он-то и преследует, а не его преследуют.

Фанатики, совершающие величайшие злодеяния, насилия и жестокости, всегда чувствуют себя окруженными опасностями, всегда испытывают страх. Человек всегда совершает насилия из страха. Аффект страха глубоко связан с фанатизмом и нетерпимостью. Излечение от страха и было бы излечением от фанатизма и нетерпимости. Фанатику дьявол всегда кажется страшным и сильным, он верит в него более, чем в Бога. Фанатизм имеет религиозные истоки, но он легко переходит на сферу национальную и политическую. Национальный или политический фанатик также верит в дьявола и его козни, хотя бы религиозная категория дьявола была ему совершенно чужда. Против сил дьявола всегда создается инквизиция или комитет общественного спасения, всесильная тайная полиция, чека. Эти страшные учреждения всегда создавались страхом дьявола. Но дьявол всегда оказывался сильнее, он проникал в эти учреждения и руководил ими.

Нет ничего страшнее страха. Духовное излечение от страха нужнее всего человеку. Нетерпимый фанатик совершает насилие, отлучает, сажает в тюрьмы и казнит, но он, в сущности, слабый, а не сильный, он подавлен страхом и сознание его страшно сужено, он меньше верит в Бога, чем терпимый. В известном смысле можно было бы сказать, что фанатическая вера есть слабость веры, безверие. Это вера отрицательная. Архимандрит Фотий эпохи Александра I верил главным образом в дьявола и антихриста. Сила Бога представлялась ему ничтожной по сравнению с силой дьявола. Инквизиция так же мало верит в силу христианской истины, как гепеу (ГПУ – главное политическое управление – Прим. ред.) мало верит в силу коммунистической истины. Фанатическая нетерпимость есть всегда глубокое неверие в человека, в образ Божий в человеке, неверие в силу истины, т. е., в конце концов, неверие в Бога. Ленин так же не верил в человека и в силу истины, как и Победоносцев: они одной расы.

Человек, допустивший себя до одержимости идеей мировой опасности и мирового заговора масонов, евреев, иезуитов, большевиков или оккультного общества убийц, – перестает верить в Божью силу, в силу истины и полагается лишь на собственные насилия, жестокости и убийства. Такой человек есть, в сущности, предмет психопатологии и психоанализа.

Маниакальная идея, внушенная страхом, и есть самая большая опасность. Сейчас фанатизм, пафос общеобязательной ортодоксальной истины обнаруживают себя в фашизме, в коммунизме, в крайних формах религиозного догматизма и традиционализма. Фанатизм всегда делит мир и человечество на две части, на два враждебных лагеря. Это есть военное деление. Фанатизм не допускает сосуществования разных идей и мирозерцаний. Существует только враг. Силы враждебные унифицируются, представляются единым врагом. Это совершенно подобно тому, как если бы человек производил деление не на я и множество других я, а на я и не-я, причем не-я представлял себе единым существом. Это страшное упрощение облегчает борьбу.

Для коммунистов есть сейчас только один враг в мире – фашизм. Всякий противник коммунизма тем самым уже фашист. И наоборот. Для фашистов всякий противник фашизма тем самым уже коммунист. При этом количество фашистов и коммунистов в мире непомерно возрастает. Люди из вражды к коммунизму становятся на сторону фашизма и из вражды к фашизму – на сторону коммунизма. Объединение происходит по отношению к дьяволу, который есть другая половина мира. Вам предлагают нелепый выбор между фашизмом и коммунизмом. Непонятно, почему я должен выбирать между двумя силами, которые одинаково отрицают достоинство человеческой личности и свободу духа, одинаково практикуют ложь и насилие, как способы борьбы. Ясно, что я должен стать на сторону какой-то третьей силы: так и делает во Франции течение, связанное с «Esprit» и «La Fleche», одинаково враждебное капитализму, фашизму и коммунизму. Фанатическая нетерпимость всегда ставит перед ложным выбором и производит ложное деление. Но интересно, что пафос фанатической нетерпимости в наше время есть результат не страстной веры и убежденности, а искусственного взвинчивания, часто стилизация и есть порождение коллективных внушений и демагогий. Есть, конечно, отдельные коммунисты и фашисты, верующие и убежденные до фанатизма, особенно среди русских коммунистов и немецких наци, менее среди итальянских фашистов, более скептических и подчиненных расчетливой политике. Но у коммунистической и фашистской массы никаких твердых и продуманных верований и убеждений нет. Эта масса, стилизуется под фанатизм вследствие внушения и подражания, а часто и интереса.

Современный пафос нетерпимости очень отличается от средневекового; тогда действительно была глубокая вера. Средний человек нашего времени идей не имеет, он имеет инстинкты и аффекты. Нетерпимость его вызвана условиями войны и жаждой порядка. Он знает лишь истину, полезную для организации. Двучленное деление мира, вызванное требованиями войны, имеет свои неотвратимые последствия. Наша эпоха не знает критики и идейного спора и не знает борьбы идей. Она знает лишь обличения, отлучения, и кары. Инакомыслящий рассматривается как преступник. С преступником не спорят. В сущности, нет больше идейных врагов, есть лишь враги военные, принадлежащие к враждебным державам. Спор есть терпимость, самый свирепый спорщик – терпимый человек, он допускает сосуществование иных идей, чем его идеи, он думает, что от столкновения идей может лучше раскрыться истина. Но сейчас в мире никакой идейной борьбы не происходит, происходит борьба интересов и кулаков. Коммунисты, фашисты, фанатики «ортодоксального» Православия, Католичества или Протестантизма ни с какими идеями не спорят, они отбрасывают противника в противоположный лагерь, на который наставляются пулеметы.

Пафос ортодоксальной доктрины, которая оказывается полезной для борьбы и для организации, ведет к полной потере интереса к мысли и к идеям, к познанию, к интеллектуальной культуре, и сравнение с средневековьем очень неблагоприятно для нашего времени. Ника-

кого идейного творчества при этом не обнаруживается. В этом отношении наша нетерпимая эпоха поразительно бездарна и убога, в ней творческая мысль замирает, она паразитарно питается предшествующими эпохами. Мыслители наиболее влиятельные в современной Европе, – как Маркс, Ницше, Киркегардт, – принадлежат тому XIX веку, против которого сейчас происходит реакция. Единственная область, в которой обнаруживается головокружительное творчество, есть область технических открытий. Мы живем под знаком социальности, и в этой области происходит много положительного, но никаких социальных идей, социальных теорий сейчас не создается, все они принадлежат XIX веку. Марксизм, прудонизм, синдикализм, даже расизм, – все порождение мысли XIX века. Главное преимущество нынешнего века в том, что он более обращен к реальностям, разоблачает реальности. Но, разоблачая старые идолы, новый век создает новые идолы.

Для фанатика не существует многообразного мира. Это человек, одержимый одним. У него беспощадное и злое отношение ко всему и всем кроме одного. Психологически фанатизм связан с идеей спасения или гибели. Именно эта идея фанатизирует душу. Есть единое, которое спасает, все остальное губит. Поэтому нужно целиком отдаться этому единому и беспощадно истреблять все остальное, весь множественный мир, грозящий погибелью. С гибелью, связанной с множественным миром, связан и аффект страха, который всегда есть в подпочве фанатизма.

Инквизиторы бывали совершенно убеждены, что совершаемые ими жестокости, пытки, сжигания на кострах и прочее есть проявление человеколюбия. Они боролись против гибели за спасение, охраняли души от соблазна ересей, грозивших гибелью. Лучше причинить краткие страдания в земной жизни, чем гибель для многих в вечности. Торквемада был бескорыстный, отрешенный человек, он ничего не желал для себя, он весь отдавался своей идее, своей вере; истязая людей, он служил своему Богу, он все делал исключительно во славу Божью, в нем была даже мягкость, он ни к кому не испытывал злобы и вражды, он был в своем роде «хороший» человек. Я убежден, что таким же «хорошим» человеком, убежденным верующим, бескорыстным, был и Дзержинский, который ведь в молодости был страстно верующим католиком и хотел стать монахом. Это интересная психологическая проблема.

Верующий, бескорыстный, идейный человек может быть изувером, совершать величайшие жестокости. Отдать себя без остатка Богу или идее, заменяющей Бога, минуя человека, превратить человека в средство и орудие для славы Божьей или для реализации идеи значит стать фанатиком – изувером и даже извергом. Именно Евангелие открыло людям, что нельзя строить своего отношения к Богу без отношения к человеку. Если фарисеи ставили субботу выше человека и были обличаемы Христом, то и всякий человек, который поставил отвлеченную идею выше человека, исповедует религию субботы, отвергнутую Христом. При этом все равно, будет ли это идея церковной ортодоксии, государственности и национализма или идея революции и социализма.

Человек, помешанный на отыскании и обличении ересей, на отлучении и преследовании еретиков, есть человек, давно обличенный и осужденный Христом, хотя он этого не замечает. Патологическая ненависть к ереси есть одержимость «идеями», которая поставлена выше человека. Но все ортодоксальные доктрины мира есть ничто по сравнению с последним из людей и его судьбой. Человек есть образ и подобие Божье. Всякая же система идей есть порождение человеческой мысли или безмыслия. Человек не спасается и не гибнет от того, что придерживается какой-либо системы идей. Единственная настоящая ересь есть ересь жизни.

Обличители и гонители ересей как раз и бывали еретиками жизни, еретиками в отношении к живому человеку, к милосердию и любви. Все инквизиторы были еретиками жизни, они были изменниками жизненному догмату о человеке. Кирилл Александрийский был более еретиком жизни, чем обличаемые им еретики. За обличениями еретиков всегда скрыта греховная похоть власти, воля к могуществу.

Патологическая одержимость идеей спасения и гибели, от которой следовало бы лечиться, может быть перенесена и на социальную сферу. Тогда эта паническая идея порождает революционный фанатизм и создает политические инквизиционные учреждения. Нетерпимость и инквизиция оправдываются грозящей социальной гибелью. Так, московские процессы коммунистов очень напоминают процессы ведьм. И здесь и там обвиняемые сознаются в преступных сношениях с дьяволом. Человеческая психика мало меняется. В сущности, фанатизм всегда носит социальный характер. Человек не может быть фанатиком, когда он поставлен перед Богом, он делается фанатиком лишь когда он поставлен перед другими людьми.

Фанатик всегда нуждается во враге, всегда должен кого-либо казнить. Ортодоксальные догматические формулы образованы не по отношению к Богу, а по отношению к другим людям, они образовались потому, что возникли еретические мнения. Фанатизм всегда означает социальное принуждение. Или он может принимать формы самосжигания, – как, например, в крайних течениях русского раскола, но и в этом случае он тоже означает социальное принуждение с обратным знаком. Фанатизм крайней ортодоксии в религии носит сектантский характер. Чувство удовлетворения от принадлежности к кругу избранных есть сектантское чувство. Фанатизм очень накаляет волю и организует для борьбы, для причинения мучений и для перенесения мучений. У самого мягкого, кроткого фанатика, сознающего себя человеколюбцем, заботящимся о спасении душ и обществ, есть элемент садизма. Фанатизм всегда связан с явлением мучительства. Идеологически фанатизм всегда есть иступление ортодоксии.

Категория ортодоксии, противопоставляемой ереси, применяется сейчас к типам мышления, ничего общего не имеющего с религией, – например, к марксизму; но она религиозного происхождения. Хотя она религиозного происхождения, но все же есть прежде всего явление социальное и означает господство коллектива над личностью. Ортодоксия есть умственная организация коллектива и означает экстерриоризацию сознания и совести. Ортодоксия утверждает себя в противоположности ереси. Еретик есть человек, мыслящий не в согласии с умственной организацией коллектива. Люди, почитающие себя ортодоксальными по преимуществу и обличающие еретиков, т. е. инакомыслящих, любят говорить, что они защищают истину и истину ставят выше свободы. Это есть самое большое заблуждение и самообольщение ортодоксов.

Пафос ортодоксии, питающий фанатизм, ничего общего не имеет с пафосом истины, он как раз ему противоположен. Ортодоксия образуется вокруг темы спасения и гибели, ортодоксы сами испуганы и пугают других. Истина же не знает страха. Именно хранители ортодоксии более всего искажали истину и боялись ее. Хранители религиозной ортодоксии искажали историю. Хранители марксистской или расистской ортодоксии также искажают историю. Эти люди всегда создают злостные легенды о враждебной им силе. Истина подменяется пользой, интересами организованного порядка.

Человек, фанатизированный какой-либо идеей, как единospасающей, не может искать истины. Искание истины предполагает свободу. Истины нет вне свободы, истина дается лишь свободе. Вне свободы есть лишь польза, а не истина, лишь интересы власти. Фанатик какой-либо ортодоксии ищет власти, а не истины. Истина не дана готовой и не воспринимается пассивно человеком, она есть бесконечное задание. Истина не падает сверху на человека, как какая-то вещь. И откровение истины нельзя понимать наивно-реалистически. Истина есть также путь и жизнь, духовная жизнь человека. Духовная же жизнь есть свобода и ее нет вне свободы.

Фанатики ортодоксии, в сущности, не знают истины, ибо не знают свободы, не знают духовной жизни. Фанатики ортодоксии думают, что они люди смиренные, ибо послушны истине церковной, и обвиняют других в гордости. Но это страшное заблуждение и самообольщение. Пусть в Церкви заключается полнота истины. Но почему ортодокс воображает, что

именно он обладает этой истиной Церкви, именно он ее знает? Почему именно ему дан этот дар окончательного различения церковной истины от ереси, почему именно он оказывается этим избранником? Это есть гордость и самомнение, и нет более гордых и самомнящих людей, чем хранители ортодоксии. Они отождествляют себя с церковной истиной. Существует ортодоксальная церковная истина. Но вот, может быть, ты, фанатик ортодоксии, ее не знаешь, ты знаешь лишь осколки ее вследствие своей ограниченности, сердечной окаменелости, своей нечуткости, своей приверженности форме и закону, отсутствию даровитости и благостности.

Человек, допустивший себя до фанатической одержимости, никогда не предполагает такой возможности о себе. Он, конечно, готов признавать себя грешником, но никогда не признает себя находящимся в заблуждении, в самообмане, в самодовольстве. Поэтому он считает возможным при всей своей грешности пытаться и гнать других. Фанатик сознает себя верующим. Но, может быть, вера его не имеет никакого отношения к истине. Истина есть прежде всего выход из себя, фанатик же выйти из себя не может. Он выходит из себя только в злобе против других, но это не есть выход к другим и другому.

Фанатик – эгоцентрист. Вера фанатика, его беззаветная и бескорыстная преданность идее несколько не помогает ему преодолеть эгоцентризм. Аскеза фанатика (а фанатики часто бывают аскетами) несколько не побеждает поглощенности собой, несколько не обращает его к реальностям. Фанатик какой-либо ортодоксии отождествляет свою идею, свою истину с собой. Он и есть эта идея, эта истина. Ортодоксия – это он. В конце концов, это всегда оказывается единственным критерием ортодоксии.

Фанатик ортодоксии может быть крайним приверженцем принципа авторитета. Но он всегда незаметно отождествляет авторитет с собою и никакому несогласному с ним авторитету никогда не подчинится. Склонность к авторитету в нашу эпоху носит именно такой характер. Авторитарно настроенная молодежь никаких авторитетов над собой не признает, она себя сознает носителем авторитета. Ультраправославно настроенная молодежь, которая не любит свободы и обличает ереси, себя почитает носителем Православия. Это есть пример того, насколько идея авторитета противоречива и несостоятельна. Авторитет на практике никогда не стесняет его фанатических приверженцев, он стесняет других, их противников и насилует их. В сущности, никто никогда не подчинялся авторитету, если считал его несогласным с его пониманием истины. Исповедание какой-либо крайней ортодоксии, какой-либо тоталитарной системы всегда означает желание принадлежать к кругу избранных, носителей истинного учения. Это льстит гордости и самомнению людей. По сравнению с этим свободолюбие означает скромность.

Очень приятно и лестно почитать себя единственным знающим, что такое истинное Православие или истинный марксизм-ленинизм (психология та же). Робеспьер беззаветно любил республиканскую добродетель, он был самый добродетельный человек в революционной Франции и даже единственный добродетельный. Он отождествил себя с республиканской добродетелью, с идеей революции. Это был законченный тип эгоцентрика. Вот это помешательство на добродетели, это отождествление себя с ней и было в нем самое отвратительное. Порочный Дантон был в тысячу раз лучше и человечнее.

Эгоцентризм фанатика какой-либо идеи, какого-либо учения выражается в том, что он не видит человеческой личности, невнимателен к личному человеческому пути, он не может установить никакого отношения к миру личностей, к живому, конкретному человеческому миру. Фанатик знает лишь идею, но не знает человека, не знает человека и тогда, когда борется за идею человека. Но он не воспринимает и мира идей иных, чем его собственные, не способен войти в общение идей. Он обыкновенно ничего не понимает и не может понять; именно эгоцентризм лишает его способности понимания. Он совсем не хочет убедить в истинности чего-либо, он совсем не интересуется истиной. Интерес к истине выводит из замкнутого круга эгоцентризма. Эгоцентризм совсем не то же самое, что эгоизм.

Эгоист в житейском смысле слова все же может выйти из себя, обратить внимание на других людей, заинтересоваться миром чужих идей. Но фанатик-эгоцентрик, бескорыстный, аскетический, беззаветно преданный какой-либо идее, совсем не может, идея центрирует его на самом себе. Для нашей смутной эпохи характерны не только вспышки фанатизма, но и стилизация фанатизма. Современные люди совсем не так фанатичны и совсем не так привержены ортодоксальным учениям, как это может казаться. Они хотят казаться фанатиками, имитируют фанатизм, произносят слова фанатиков, делают насилующие жесты фанатиков. Но слишком чисто это лишь прикрывает внутреннюю пустоту. Имитация и стилизация фанатизма есть лишь один из способов заполнения пустоты. Это означает также творческое бессилие, неспособность на мысли. Претендующие на знание ортодоксальной истины находятся в состоянии безмыслия. Любовь к мысли, к познанию есть также любовь к критике, к диалогическому развитию, любовь к чужой мысли, а не только к своей.

Фанатической нетерпимости противопоставляют терпимость. Но терпимость есть сложный феномен. Терпимость может быть результатом безразличия, равнодушия к истине, неразличения добра и зла. Это есть теплопрохладная, либеральная терпимость, и не ее нужно противопоставлять фанатизму. Возможна страстная любовь к свободе и к истине, пламенная приверженность идее, но – при огромном внимании к человеку, к человеческому пути, к человеческому исканию истины. Свобода может быть понята, как неотрывная часть самой истины. И не все человек должен терпеть. К современной нетерпимости, фанатизму, к современной ортодоксании совсем не нужно относиться терпимо, наоборот, нужно относиться нетерпимо. И врагам свободы совсем не нужно давать безграничной свободы. В известном смысле нам нужна диктатура реальной свободы. Современные же диктатуры во всех их формах покоятся на душевном фундаменте, который обнаруживает тяжкое душевное заболевание. Нужен курс духовного лечения.

Русские записки № 1. Париж-Шанхай, 1937.

О самоубийстве

I

Вопрос о самоубийстве – один из самых беспокойных и мучительных в русской эмиграции. Очень много русских кончают жизнь самоубийством. Многие, если еще и не решались убить себя, то носят в себе мысль о самоубийстве. Потеря всякого смысла жизни, оторванность от родины, крушение надежд, одиночество, нужда, болезни, резкое изменение социального положения, когда человек, принадлежавший к высшим классам, делается простым рабочим, и неверие в возможность улучшить свое положение в будущем – все это очень благоприятствует эпидемии самоубийств. Самоубийство как явление индивидуальное существовало во все времена, но иногда оно становится явлением социальным и таким оно является в наше время в русской эмиграции, где создается для него очень благоприятная коллективная атмосфера. Самоубийство бывает заразительно и человек, убивающий себя, совершает социальный акт, толкает других на тот же путь, создает психическую атмосферу разложения и упадка. Самоубийца имеет дело не только с самим собой, и насильственное уничтожение собственной жизни имеет значение не только для него одного. Самоубийца вызывает роковую решимость и в других, он сеет смерть. Самоубийство принадлежит к тем сложным явлениям жизни, которые вызывают к себе двойственное отношение. С одной стороны, сам человек, покончивший с собой, вызывает к себе глубокую жалость, сострадание к пережитой им муке. Но сам факт самоубийства вызывает ужас, осуждение как грех и даже как преступление. Близкие часто хотят скрыть этот страшный факт. Можно сочувствовать самоубийце, но нельзя сочувствовать самоубийству. Церковь отказывает самоубийце в христианском погребении, на него смотрят как на обреченного на вечную гибель. Церковные каноны в этом отношении слишком жестоки и беспощадны и на практике отношение это принуждены смягчать. Но в этой жестокости и беспощадности есть своя метафизическая глубина. Самоубийство вызывает жуткое, почти сверхъестественное чувство, как нарушение божеских и человеческих законов, как насилие не только над жизнью, но и над смертью.

Самоубийство русских в атмосфере эмиграции имеет не только психологический, но и исторический смысл. Оно означает ослабление и разложение русской силы, оно говорит о том, что русские не выдерживают исторического испытания. И бороться с ним нужно, прежде всего, повышением чувства и сознания своего достоинства, своего призвания. Русский, ощутивший сейчас роковую склонность к самоубийству, не может вызывать к себе слишком строгим и беспощадным отношением. При строгим и беспощадном к нему отношении он всегда вам ответит, что вы находитесь в более привилегированном и счастливом положении и потому не понимаете мучительности и безнадежности его жизни. И нужно, прежде всего, понять человека, понять сочувственно, поставив себя в его положение. И вот что нужно понять, прежде всего. Трудно, очень трудно жить человеку изолированно, одиноко, оторванным от питавшей его родной почвы, чувствовать себя выброшенным в необъятный темный океан чужой ему и страшной жизни. И когда жизнь человека не согрета верой, когда он не чувствует близости и помощи Бога и зависимости своей жизни от благой силы, трудность становится непереносимой. Самое страшное для человека, когда весь окружающий мир – чужой, враждебный, холодный, безучастный к нужде и горю. Не может жить человек в ледяном холоде, он нуждается в тепле. Русская молодежь, рассеянная по всему свету, нередко чувствует себя покинутой на произвол судьбы, беспризорной, предоставленной своим ограниченными силами. Она бьется, пытается отстоять свою жизнь, но иногда изнемогает, теряет силу сопротивления, не выдерживает слишком тяжких испытаний. Причиной склонности к самоубийству в эмиграции является

не только материальная нужда, необеспеченность будущего, болезнь, но еще более ужас, что всегда, до конца дней, придется жить в чужом и холодном мире и что жизнь в нем бессмысленна и бесцельна. Человек может выносить страдания, сил у него больше, чем он сам думает, это достаточно доказано войной и революцией, Но трудно человеку вынести бессмысленность страданий. Ницше говорит, что человек не столько не может вынести страдание, сколько бессмысленности страдания. Страдание, смысл и цель которого созданы, есть совсем уже иное страдание, чем страдание бесцельное и бессмысленное. Героическое переживание самых тяжелых испытаний предполагает сознание смысла испытываемого.

Русская революция принесла людям неисчислимое количество страданий, она есть великое испытание духа. И вот для того, чтобы выдержать это испытание, перенести эти страдания, нужно сознать, что происходящее имеет какой-то смысл, что оно не есть чистая бессмыслица и потеря. Неверное отношение к революции, как к чистой бессмыслице, как к совершенно внешнему несчастью, ударившему по жизни людей, как к случайному порождению кучки злодеев, приводит к духовно упадочным настроениям в эмиграции, к ощущению совершенной бессмысленности жизни и толкает к насильственному прекращению жизни. Но такой взгляд на несчастья революции совершенно внешний, не духовный, не религиозный, материалистический, обывательский. В действительности революция есть очень серьезный и трагический внутренний момент в судьбе народов, в судьбе каждом из нас. Революция есть историческое событие, происходящее в нас и с нами, как бы мы к ней ни относились, как бы ни возмущались ее злой стороной, она совсем не есть что-то внешнее для нас и совершенно бессмысленное для нашей жизни. Бессмысленно то, что остается совершенно внешним для нас, никак не связанным внутренне с нашей жизнью. Ведь и к несчастьям и испытаниям в личной жизни – смерти близких людей, болезням, бедности, разочарованию в людях, которые казались друзьями и нам изменили, нужно относиться, как к имеющим смысл для личной судьбы, как к внутренним, а не внешним событиям, т. е. относиться духовно. Это и есть религиозное отношение к жизни. То же нужно сказать и о несчастьях исторических, войнах, революциях, потери отечества, социальной деградации. Революция есть возмездие за грехи прошлого и искупление. Она говорит об общей вине. Никто не может чувствовать себя изъятым из общей вины, из общей судьбы. И только переживание вины делает революцию переносимой. Революция всегда значит, что силы добра не раскрыли себя творчески в жизни, что накопилось много зла и яда, что необходимо обновление через катастрофу и действие злых сил, если не совершается обновление через благую духовную силу. Человек может находиться в эмиграции, быть непримиримым врагом зла большевизма, но и он должен чувствовать и сознавать, что революция есть внутреннее событие, происходящее и в нем и с ним и что смысл ее может быть огромным для исторической судьбы народа, хотя и совершенно несоизмеримым с тем, в чем его видят сами деятели революции. Душевная подавленность и потеря смысла жизни будут преодолены, если будет сознано, что мы живем в эпоху великого исторического кризиса и перелома, что наступает новый период истории, что старый мир рушится и создается новый, неведомый еще мир. И каждый человек призван быть деятелем в этом процессе. От проявленной им духовной силы зависит будущее. Но такие эпохи всегда порождают большое количество страданий. Страдания же эти не бессмысленны и не бесцельны. Во что бы то ни стало нужно преодолеть упадочное, разлагающее настроение в русской эмиграции, особенно в молодежи. Эти упадочные настроения вырастают от ложного взгляда на испытания революции, от разочарования в старых способах борьбы против большевизма, от ошибочных идей, мешающих духовно пережить революцию. Борьба против упадочности и склонности к самоубийству есть прежде всего борьба против психологии безнадежности и отчаяния, борьба за духовный смысл жизни, который не может зависеть от преходящих внешних явлений.

II

Самоубийство есть психологическое явление и, чтобы понять его, нужно понять душевное состояние человека, который решил покончить с собой. Самоубийство совершается в особую, исключительную минуту жизни, когда черные волны заливают душу и теряется всякий луч надежды. Психология самоубийства есть прежде всего психология безнадежности. Безнадежность же есть страшное сужение сознания, угасание для него всего богатства Божьего мира, когда солнце не светит и звезд не видно, и замыкание жизни в одной темной точке, невозможность выйти из нее, выйти из себя в Божий мир. Когда есть надежда, можно перенести самые страшные испытания и мучения, потеря же надежды склоняет к самоубийству. Безнадежность означает невозможность представить себе другое состояние, она всегда есть дурная бесконечность муки и страдания, т. е. предвосхищение вечных адских мук, от которых человек думает освободиться лишением себя жизни. Душа целиком делается одержимой одним состоянием, одним помыслом, одним ужасом, которым окутывается вся жизнь, весь мир. Самоубийца закупорен в своем «я», в одной темной точке своего «я» и вместе с тем он творит не свою волю, он не понимает сатанинской метафизики самоубийства. Человек переживает муку несчастной любви. В одной точке сгущается тьма и вытесняет все многообразие жизни. Человек видит лишь бесконечность, вечность несчастной любви. Он ни в чем не видит никакого смысла, а потому и ничего не видит притягательного в своей жизни. Он перестает видеть смысл в жизни всего мира, все окрашивается для него в темный цвет безнадежной бессмыслицы, все осмысленное вытесняется. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о том, что человек попадает в темные точки, из которых не может вырваться. Человек хочет лишиться себя жизни, но он хочет лишиться себя жизни именно потому, что он не может выйти из себя, что он погружен в себя. Выйти из себя он может только через убийство себя. Жизнь же, закупоренная в себе, замкнутая в самости, есть невыносимая мука. Самоубийца – всегда эгоцентрик, для него нет больше Бога, ни мира, ни других людей, а только он сам. Для него нет и тех людей, из-за которых он решает покончить с собой. Преодолеть волю к самоубийству значит забыть о себе, преодолеть эгоцентризм, замкнутость в себе, подумать о других и другом, взглянуть на Божий мир, на звездное небо, на страдания других людей и на их радости. Победить волю к самоубийству значит перестать думать главным образом о себе и о своем. В жизни людей есть опасные темные точки, в которых сгущается бездонная тьма. Если человеку удастся вырваться из этой точки, вырваться из себя, то он спасен, и воля к самоубийству у него может пройти. Вот почему в иные минуты так важна, бывает помощь человеку, может спасти сказанное слово или даже взгляд, дающий почувствовать, что человек этот не один на белом свете, который стал для него черным. Психология самоубийства есть психология замыкания человека в самом себе, в своей собственной тьме. Можно даже сказать, что когда человек находится в эгоцентрическом состоянии, сосредоточен исключительно в себе, на своих страданиях и мучениях, когда теряется для него реальное отношение к другим и другому, он всегда во тьме, в темной яме, которая оказывается бездонной. Всякий свет предполагает для меня существование другого и других, прежде всего предполагается существование Солнца мира. Вот почему так страшно одиночество и покинутость для человека, который не видит и не чувствует Бога. Тогда разворачивается бездонная черная яма. Внешнее одиночество и покинутость можно выдержать только с Богом. Один из путей в борьбе против упадочных настроений, влекущих к самоубийству, есть духовное единение людей, духовное содружество. Великая задача человеческой жизни состоит в том, чтобы человек научился выходить из себя, из поглощенности собой к другим людям и миру, к ценностям, имеющим сверхличное значение, а когда человек углубляется в себя, находит не себя только, но и то, что ближе, чем он, находит Бога.

Психология самоубийства не знает выхода из себя к другим, для нее все теряет ценность. В глубине же человека она видит не Бога, а темную пустоту. Вот почему психология самоубийства есть не духовное состояние.

Но было бы большим упрощением рассматривать самоубийство как явление всегда однородное. Существуют очень разнообразные типы самоубийств и самоубийцы вызывают разные оценки. Люди убивают себя от несчастной любви, от сильной страсти или от несчастной семейной жизни; убивают себя от потери вкуса к жизни, от бессилия; убивают от позора и потери чести; от потери состояния и нужды; убивают себя, чтобы избежать измены и предательства; убивают от безнадежной болезни и страха страданий, Покончил с собой человек, которого я очень уважал и любил и считал одним из лучших людей. Причиной его самоубийства была безнадежная болезнь. Я не сужу его. Когда человек убивает себя, потому что его ждет пытка и он боится совершить предательство, то это в сущности не есть даже самоубийство. Самоубийство может быть от совершенного бессилия и от избытка сил. Психология самоубийства так странна, что бывали случаи, когда люди убивали себя от страха заразиться холерой. В этом случае они хотели прекратить невыносимое чувство страха, которое страшнее смерти. Самоубийство может совершиться и по мотивам эстетическим, из желания умереть красиво, умереть молодым, вызвать к себе особую симпатию. Соблазн красоты самоубийства бывает силен в некоторые эпохи и он заразителен. Самоубийство Есенина, самого замечательного русского поэта после Блока, вызвало культ его личности. Он стал центром упадочных настроений, идеализирующих красоту самоубийства. Но как ни разнообразны мотивы самоубийства и душевная их окраска, оно всегда означает переживание отчаяния и потерю надежды. Исключение можно было бы сделать для римлян времен упадка, которые, как Петроний, насильственно прерывали свою жизнь с полным самообладанием, философски, не в состоянии аффекта. И в этом явлении есть подпочва глубокой безнадежности, да оно и совсем не характерно для нашего времени и для русской среды. Сильные страсти, порождающие непреодолимые конфликты жизни, нередко ведут к самоубийству – любовь к женщине, ревность, азартная игра, похоть власти, страсть к наживе, чувство мести и гнева. Этот тип самоубийства может быть выделен в особую категорию и в нем самоубийство не есть явление социальное. Меня сейчас наиболее интересует тот тип самоубийства, который можно назвать явлением социальной слабости и упадка.

Самоубийство по природе своей есть отрицание трех высших христианских добродетелей – веры, надежды и любви, Самоубийца есть человек, потерявший веру. Бог перестал для него быть реальной, благой силой, управляющей жизнью. Он есть также человек, потерявший надежду, впавший в грех уныния и отчаяния и это более всего. Наконец, он есть также человек, не имеющий любви, он думает о себе и не думает о других, о ближних. Правда, бывают случаи, когда человек решается уйти от жизни, чтобы не быть в тягость своим ближним. Это – особый случай самоубийства, не типический, не основанный на эгоизме и на ложном суждении о жизни, он вызывается безнадежной болезнью, совершенной немощью или потерей способности к труду. Некоторые уходили из жизни, чтобы дать место другим, даже своим соперникам. Во всяком случае вера, надежда и любовь побеждают настроения, склоняющие к самоубийству. Даже одна из этих христианских добродетелей может спасти человека от гибели. Самоубийца в преобладающих формах этого явления есть человек уже ни во что не верящий, ни на что не надеющийся и ничего не любящий. Даже самоубийство на эротической почве более свидетельствует о любви к себе, чем к другому человеку. И сама любовь к другому человеку в этом случае бывает грехом идолопоклонства. Человек не верит, не надеется, не любит в то темное мгновение своей жизни, когда он решается покончить с собой. Если ему удастся вырваться из темной точки, миновать ее, то в нем могут пробудиться и вера, и надежда, и любовь. Но он принял это темное мгновение за всю жизнь, за все бытие. В следующее мгновение надежда могла бы пробудиться, но он не дожил до этого следующего мгновения. В этом великая тайна и парадокс времени. В одно мгновение может вобраться целая вечность и пережитое в это

мгновение как бы заполняет собой все бытие. До этого страшного мгновения у человека была надежда, и она вернулась бы в следующее мгновение, но он принял это мгновение за вечность и решил эту вечность уничтожить, погасить бытие. Человек, в сущности, никогда не хочет убить себя, да это и невозможно, ибо человек принадлежит вечности, он хочет уничтожить лишь мгновение, принятое им за вечность, в одной точке хочет уничтожить все бытие и за это посягательство на вечность он перед вечностью отвечает. Неудавшееся самоубийство иногда даже приводит к возрождению жизни, как выздоровление после тяжелой болезни. По видимости, самоубийство может производить впечатление силы. Нелегко покончить с собой, нужда безумная решимость. Но в действительности самоубийство не есть проявление силы человеческой личности, оно совершается нечеловеческой силой, которая за человека совершает это страшное и трудное дело. Самоубийца, все-таки, есть человек одержимый. Он одержим объявшей его тьмой, и утерял свободу. Это типическое явление. Самоубийство есть также проявление малодушия, отказ проявить духовную силу и выдержать испытание, оно есть измена жизни и ее Творцу. Психология самоубийства есть психология обиды, обиды на жизнь, на других людей, на мир, на Бога. Но психология обиды есть рабья психология. Ей противоположна психология вины, которая есть психология свободного и ответственного существа. В сознании вины обнаруживается большая сила, чем в сознании обиды.

III

Означает ли самоубийство нелюбовь к жизни и ее благам? Поверхностно самоубийство может произвести впечатление потери всякого вкуса к земной жизни, окончательной отрешенности от нее. Но в действительности это не так. Самоубийство есть в большинстве случаев особого рода проявление непросветленной любви к земной жизни и ее благам. Самоубийца есть человек, который потерял всякую надежду, что блага жизни могут быть ему даны. Он ненавидит свою несчастную, бессмысленную жизнь, а не вообще земную жизнь, не вообще блага жизни. Он хотел бы более счастливой и осмысленной земной жизни, но отчаялся в ее возможности. Психология, которая приводит к самоубийству, есть менее всего психология отрешенности от благ земной жизни. Люди аскетического типа, напряженной духовной жизни, обращенные к иному миру, к вечности, никогда не кончают жизнь самоубийством. Нужна, наоборот большая обращенность к временному и земному, забвение о вечности и небе, чтобы образовалась психология самоубийства. Для психологии самоубийства именно временное стало вечным, вечное же исчезло, именно земная жизнь с ее благами есть единственная существующая жизнь, и никакой другой жизни нет. Психология самоубийства совсем не означает презрения к миру и к хорошей жизни в мире. Наоборот, она означает рабство у мира. Человек, духовно свободный от власти мира, никогда не мог бы испытать состояния отчаяния и безнадежности, которое ведет к самоубийству. Он знает, что подлинная радость дается не благами мира, а возрастанием в духовной жизни и близостью Бога, что подлинная жизнь есть вращение в вечность. Но человек, вращающийся в вечность, никогда не пожелает покончить насильственно свою жизнь во времени. Свобода от мира дается возрастанием в духовной жизни. Когда человек кончает жизнь самоубийством, то его убивает мир, ставший для него слишком горьким, в то время как сладость мира он считал единственной настоящей и подлинной жизнью. Яд, который человек в порыве отчаяния принимает внутрь, пуля, которую он пускает себе в лоб, река, в которую он бросается, все это есть уничтожающий его «мир», во власти которого он находится. Когда человек глубоко и жизненно проникается той мыслью, что жизнь в этом мире, в этом времени не есть единственная и окончательная жизнь, что есть иная, высшая, вечная жизнь, ему никогда не придет в голову мысль покончить с собой. Тогда является перед человеком бесконечная задача вращающегося в вечность, духовного восхождения, освобождения от власти дурной, несчастной, бессмысленной жизни мира. Победить волю к самоубийству значит

победить власть «мира» над своей судьбой. Вот в чем основной парадокс самоубийства. Самоубийца есть менее всем человек, способный к жертве своей жизнью, он слишком привязан к ней и погружен в ее мрак. Самоубийство есть погруженность человека в себя и рабство человека у мира. Самоубийство эгоистично и оно противоположно жертве своей жизнью во имя других, во имя какой-нибудь идеи, во имя своей веры. Если бы человек, решивший покончить с собой, был еще способен на жертву, то он остался бы жить, он совершил бы жертву, приняв тяготу жизни. Если бы самоубийца в роковую минуту способен был думать о других и совершить для других жертву, рука бы его дрогнула и жизнь его была бы спасена. Власть мира над самоубийцей выражается не в том, что он способен думать о мире, отрешившись от себя, забыв о себе, а в том, что он весь поглощен страданиями, которые ему мир приносит и отчаянием оттого, что мир никогда не принесет желанных благ. Это значит, что в отношении к миру он ориентирован эгоцентрически. Но эгоцентрическая ориентировка всегда и есть источник рабства. Потеря вкуса к миру и к жизни, когда все становится невыносимо скучным, есть самоубийственное настроение, но оно не значит, что человек свободен от власти мира. Человек хотел бы, чтобы мир имел для него вкус, возбуждал его, привлекал его, и мучается, что это прошло и уже невозможно. Тут прикованность к миру, хотя в отрицательной форме, остается полностью. История, правда, знает самоубийства по обязанности, рабов, когда умер их господин, жен, когда умер их муж. Эти самоубийства, конечно, не эгоцентричны, но они и совсем не характерны для современной, наиболее типической психологии самоубийства.

Самоубийство есть не только насилие над жизнью, но есть также насилие над смертью. В самоубийстве нет вольного принятия смерти в час, ниспосылаемый свыше. Самоубийца считает себя единственным хозяином своей жизни и своей смерти, он не хочет знать Того, Кто создал жизнь и от Кого зависит смерть. Вольное принятие смерти есть вместе с тем принятие креста жизни. Смерть и есть последний крест жизни. Самоубийца в большинстве случаев думает, что его крест тяжелее, чем крест других. Но никто не может решить, чей крест тяжелее. Тут нет никакого объективного критерия для сравнения. У каждого человека свой особый крест, иной, чем у другого человека. Самоубийство есть не только ложное и греховное отношение к жизни, но также ложное и греховное отношение к смерти. Смерть есть великая тайна, такая же глубокая тайна, как и рождение. И вот самоубийство есть неуважение к тайне смерти, отсутствие религиозного благоговения, которое она должна к себе вызывать. В сущности человек всю жизнь должен готовиться к смерти и значительность и качественные достижения его жизни определяются тем, готов ли он к смерти. Готовиться к смерти совсем не значит умирать, ослаблять и уничтожать свою жизнь. наоборот, это значит повышать свою жизнь, внедрять ее в вечность. Но в действительности люди очень мало бывают, готовы к смерти, они часто недостойны смерти. Христианское отношение к смерти очень сложное и, но видимости, двойственное. Жизнь есть величайшее благо, дарованное Творцом, Смерть же есть величайшее и последнее зло. Но смерть есть не только зло. Вольное принятие смерти, вольная жертва жизнью есть добро и благо. Христос смертью смертью поправил. Смерть имеет и искупающее значение. Представить себе нашу грешную и ограниченную жизнь бесконечной есть кошмар. Через смерть мы идем к воскресению для новой жизни. Самоубийство прямо противоположно Кресту Христову, Голгофе, но есть отказ от креста, измена Христу. Поэтому оно глубоко противоположно христианству. Образ самоубийцы противоположен образу Распятого за правду. И психология самоубийства совсем не есть психология искупительной жертвы. Искупительная жертва основана на свободе. Самоубийца же не знает свободы, он не победил мир, а побежден миром. Христос победил мир и уготовал путь к всеобщей победе над смертью и воскресению. Вольная крестная жертва есть путь к вечной жизни. Самоубийство же есть путь к вечной смерти, оно отказывается от воскресения.

Гениальная диалектика о самоубийстве раскрыта Достоевским в «Бесах» в образе Кириллова. Кириллов одержим идеей человекобожества.

Человек должен стать Богом. Но, чтобы стать Богом, человек должен победить страх смерти, должен сознательно и свободно убить себя. Кириллов решает убить себя совсем не потому, что он субъективно переживает состояние безнадежности и отчаяния, его самоубийство должно быть метафизическим экспериментом, в котором человек убедится, а своей силе, в том, что он один хозяин жизни и смерти. Он не знает иного хозяина, Бога, и потому он сам становится богом. Бог существовал для человека только потому, что у него был страх. Идея самоубийства у Кириллова носит апокалипсический характер, через него побеждается время. Время остановится и будет вечность. Кириллов – человек «идеи», он не руководствуется никакими низменными побуждениями, он не знает страха. И вот образ Кириллова, по своему аскета, человека чистого, во всем противоположен образу Христа. Человекобог и должен во всем быть противоположен Богочеловеку. Последнее слово метафизического самоубийства Кириллова есть смерть. Последнее слово крестной жертвы Христа есть жизнь, воскресение. Кириллов делает бессильный метафизический жест, он бессилён своей смертью смерть поправить, он бессилён победить время и перейти в вечность. Самоубийство Кириллова уродливо, как и всякое самоубийство, в нём нет луча света. А он – самый благородный и возвышенный из самоубийц. Распятие же Христа, которое было величайшим злодеянием тех, которые Его распяли, излучает свет, несёт миру спасение и воскресение. Достоевский обнаруживает через метафизический эксперимент Кириллова, что самоубийство, по природе своей, атеистично, есть отрицание Бога, есть постановка себя на место Бога. Конечно, большинство людей, кончающих жизнь самоубийством, не имеет метафизических мыслей Кириллова, они находятся в состоянии аффекта и не размышляют. Но они, не сознавая этого, ставят себя на место Бога, ибо считают лишь себя единственным хозяином жизни и смерти, т. е. на практике утверждают атеизм. Обожествление человека, человекобожество может предельно проявить себя лишь в насильственной смерти. Тут мы подходим к вопросу об отношении между насильственной смертью и убийством. Есть ли самоубийство убийством?

Если смерть может быть не только злом, но и путем к воскресению, то убийство есть чистое зло и самое страшное зло. Самоубийство есть убийство живого существа, Божьего творения. Те, которые не видят в этом убийства, основываются на том, что убийство есть уничтожение чужой, не принадлежащей мне жизни. Моя жизнь принадлежит мне и потому я могу уничтожить её, не совершая убийства. Так же как я не могу совершить кражи относительно принадлежащей мне вещи. Но это ложное и поверхностное рассуждение. Моя жизнь есть не только моя, на которую я имею абсолютное право собственности, но и чужая жизнь, она есть, прежде всего жизнь, принадлежащая Богу, который единственный имеет на неё абсолютное право собственности, она также есть жизнь моих близких, других людей, моего народа, общества, наконец, всего мира, который нуждается во мне. Принцип абсолютного права частной собственности сеть вообще ложный принцип. Римское понимание права собственности есть не христианское понимание. Классическая формула римского понимания права частной собственности гласит: *dominium est jus utendi, fruendi, abutendi re sua quatenus juris ratio patitur*, т. е. значит, собственность есть право не только пользоваться вещью во благо, но и злоупотреблять ею, делать с ней что хочешь. Но права абсолютной собственности не существует на вещи, на неодушевленные предметы, принадлежащие человеку. От рабства и крепостного права должны быть освобождены не только люди, но и вещи. Пусть с точки зрения действующего права я имею право ломать и уничтожать принадлежащие мне вещи и меня не привлекают за это к ответственности, не посадят в тюрьму. Духовно, морально, религиозно я не имею никакого права делать, что мне заблагорассудится с принадлежащими мне вещами, обращаться с ними дурно, уничтожать их и истреблять. Я не имею абсолютного права на вещи, я должен употреблять их на благо, но не злоупотреблять ими, должен обращаться с ними по-божески. Да и если я в слишком резкой форме начну уничтожать принадлежащие мне вещи, ломать мою мебель, бить посуду, стекла моего дома, рвать на части собственную одежду, то меня, вероятно, подвергнут

медицинскому осмотру и посадят в лечебницу. Мое право собственности на вещи относительное, а не абсолютное, вещи также принадлежат Богу и моим ближним и всему миру, неотрывную часть которого они составляют. Если даже с собственным карандашом, книгой, одеждой я не могу поступать, как мне заблагорассудится, то тем более не могу этого делать с собственным телом, с собственной жизнью, более драгоценной, чем вещи. Утверждение абсолютного права частной собственности есть ложный и не христианский индивидуализм.

Человек должен любить себя как Божие творение, и слишком большая нелюбовь и небрежение к себе, обычно сопровождающиеся корчами самолюбия (самолюбие не есть любовь к себе в должном смысле слова, наоборот) есть греховное состояние, отрицание Божьего творения, Божьего образа и подобия, Божьей идеи. Сказано: «люби ближнего, как самого себя». А это предполагает и любовь к себе, которая совсем не есть эгоизм. Без такой любви к себе невозможна была бы жертва, невозможна была бы любовь к ближнему. И вот в самоубийстве присутствует эгоизм и эгоцентризм, самопогруженность и самопоглощенность и отсутствует нормальная любовь к себе, как к принадлежащему Богу существу. Когда человек делается себе ненавистен и противен, когда он хочет истребить себя, то этого он никому не прощает, ему делаются, ненавистны и противны и другие люди и весь мир Божий. Психологический парадокс заключается в том, что ненависть и отвращение к себе есть вместе с тем эгоцентризм, поглощенность собой, бессилие выйти из себя, забыть себя и подумать о других. Люди, ненавидящие себя и желающие себя истребить, суть люди с ободранной кожей, которые вымещают на других то, что они самим себе не нравятся. Люди нередко хотят покончить с собой назло другим. Когда болезненное уродство в человеке вызывает в нем отвращение к самому себе и чувство своей слабости в жизни и униженного своего состояния, то человек часто вымещает это на других и злобствует относительно других. Духовно должно относиться к самому себе не только, как к самому себе и своей собственности, но и как к существу, принадлежащему Богу, миру и другим людям. С этим связано чувство призвания. Существуют обязанности не только по отношению к Богу и другим людям, но и к самому себе. К себе нужно по-хорошему, а не по-дурному относиться, не истреблять себя, не обращаться дурно с собственной душой и телом. Самоубийство есть предельное выражение дурного обращения с собой, нарушение долга по отношению к самому себе. Самоубийство есть несомненное убийство существа, принадлежащего Богу, людям и миру. И притом это есть убийство не только тела, но и души, т. е. в некотором смысле убийство еще большее, чем всякое другое. Когда человек истребляет свою душу развратом, пьянством, излишеством, небрежением, непросветленными страстями, злобой, мстительностью и т. д., то он совершает частичное самоубийство и убийство, он обращается недозволительно с тем, что не только ему принадлежит и что предназначено для высших целей. Точка зрения, которая считает, что человек – самодержавный властелин собственной души и тела, есть точка зрения атеистическая, безбожная. Человек не только не имеет права истреблять свою душу и тело, но он ответит и за небрежение в отношении к самому себе. Калеча и уничтожая себя, человек калечит и уничтожает мир, космическое целое, других людей, ибо все со всем связано и все от всего зависит. Убивая себя, человек наносит рану миру как целому, мешает осуществлению Царства Божьего. Человек есть более высокое по своему положению и по своему назначению существо, чем он это сам о себе думает в своем эгоизме, самопоглощенности и звериности. Эгоцентрик всегда обречен, думать о себе ниже, чем должен думать о себе человек. И самоубийца, поглощенный лишь собой, не знает значения, которое он имеет для человечества и для мира, не понимает, что отравляет он не только себя, но и Божий мир, что затрудняет он осуществление Божьего замысла о мире. Не сам себя создал человек, его создал Бог для вечной жизни и создал его так, что жизнь его связана с жизнью всего Божьего творения. Смерть же вошла в мир с первородным грехом. Св. Фома Аквинат говорит, что самоубийство есть грех относительно самого себя, относительно общества и относительно Бога. Самоубийца совершает великий грех относительно собственной души, лишая себя возможности покаяния,

духовного возрождения и приготовления к страшной тайне смерти. Мужество, которое иногда проявляет самоубийца, есть кажущееся и иллюзорное мужество. За ним скрыто малодушие и страх перед жизнью. Самоубийство есть абсолютная изоляция себя от бытия, от Божьего мира, от человечества. Но такая изоляция невозможна по устройству бытия. Все и все связано со всеми и со всем. И все человечество и весь мир есть организм. Только христианское сознание раскрывает правду о самоубийстве и устанавливает правильное к нему отношение. Социологическая точка зрения, которая, основываясь на статистике, хочет установить социальную закономерность и необходимость самоубийства, в корне ложна, она видит лишь внешнюю сторону явления, лишь результат незримых внутренних процессов и не проникает в глубину жизни.

В мире дохристианском, языческом было иное отношение к самоубийству. Самоубийство среди дикарей было более распространено, чем это принято думать. Римляне были или равнодушны к вопросу о самоубийстве или одобряли его. Для Сенеки, представителя стоической философии, который считается вершиной римского нравственного сознания и близким к христианству, самоубийство было возможно. Римляне идеализировали и облагораживали самоубийство. В период империи самоубийство стало проявлением утонченности. Но это значило, что положительный смысл жизни был утерян или не найден. И эпикурейцы, и стоики боролись со страданиями жизни и пытались выработать внутреннюю самозащиту, бесстрашие. Но стоицизм, очень по-своему высокая естественная мораль, боится страданий и прячется от них. Возможность самоубийства есть одно из утешений, если все другие утешения исчерпаны. Утонченные души, страдающие от грубости жизни, утерявшие веру в объективный смысл жизни, иногда склонны идеализировать самоубийство как явление благородное, как благородный уход из мира. Но это не религиозное и не христианское состояние души. Уже в XIX веке пессимизм Шопенгауэра призывает к мировому самоубийству, к угашению мировой воли к жизни, порождающей муку и страдание. Он зовет к небытию, к нирване. Но тут индивидуальный вопрос о самоубийстве притупляется и теряет остроту. Шопенгауэр, который был близок к буддизму, тоже боится страданий и хочет от них бежать. Только христианство утверждает бесстрашие перед страданиями и смысл страдания, значение Креста. Поэтому христианство есть самая мужественная религия. Идеология же самоубийства утверждает, что страдание страшнее убийства. Мы говорили уже, что самоубийство есть форма убийства. И с той же точки зрения можно оправдать убийство человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий, от безнадежной болезни, от позора и пр. Но христианская церковь твердо стоит на том, что убийство всегда страшнее страдания, что лучше страдать, чем убивать из сострадания. Утверждали даже, что Иуда был более виноват, убив себя, чем предав Христа. Японское *харакори* есть благородная, рыцарская форма самоубийства, но она невозможна для христианина. Христианство глубоко отличается и от стоицизма и от буддизма и от всех учений религиозных и философских в вопросе о смысле страданий. Только христианство и учит тому, что страдание выносимо и имеет смысл. Страдание было бы невыносимо, если бы оно было бессмысленно. Но смысл делает страдание выносимым. Самоубийство считает страдание невыносимым и бессмысленным. Но смысл страдания в том, что оно есть несение креста, к чему призвал нас Спаситель мира. Возьми крест свой и иди за Мною. Именно сознание несения креста жизни и делает страдание выносимым. Бунт против страдания делает страдание двойным, человек страдает не только от ниспосылаемых ему испытаний, но и от своего бунта против страдания. Крест же и есть единственная защита против самоубийства и единственная сила, которая может быть ему противопоставлена. Всякий человек, склоняющийся к самоубийству, должен осенить себя крестным знаменем, принять крест внутрь себя. Именно тайна креста и есть осуждение самоубийства.

Человек в жизненном пути своем переживает душевные кризисы, иногда очень болезненно и мучительно. Душевный кризис может представляться человеку настоящей агонией. Такие бурные душевные кризисы знает молодость. Ими, например, сопровождается половое

созревание человека, бурный прилив сил, не находящих исхода. Молодость знает свою меланхолию, меланхолию от избытка неизжитых сил, от неуверенности, что удастся их изжить, Молодость более склонна к меланхолии, чем это принято думать, но это не есть меланхолия от бессилия и изжитости, как меланхолия старости. Самоубийство в молодости часто бывает результатом бурных душевных кризисов, в которых силы человека не находят исхода. Необходимо очень внимательное и бережное отношение к душевным кризисам. Потеря детской веры, кризис мирозерцания может породить очень бурные душевные процессы и вызвать меланхолию. Также роковым может быть душевный кризис, вызванный неудачной любовью. Особенно тяжки и опасны по своим последствиям бывают душевные кризисы у натур эмоциональных, которыми аффект владеет безраздельно. Кризисы проходят легче у натур, у которых эмоциональный элемент сильно уравновешен элементом интеллектуальным и волевым. Весь вопрос в том, насколько легко вся душевная жизнь человека определяется одним каким-либо аффектом, насколько легко человек делается одержимым одним каким-либо состоянием, когда темные волны затопляют всю душу. Самоубийство делается более легким в момент душевных кризисов и тут вся задача в том, чтобы миновать опасные точки сгущения тьмы. Есть также немалое количество случаев самоубийства, которые являются результатом, если неполном, то частичного сумасшествия. Меланхолия есть форма психического расстройства. Современная психопатология учит, что человеческая душа больна и что в каждом человеке есть потенциальный сумасшедший, но сдерживаемый в границах. Человеку нужно бороться за свое душевное здоровье и равновесие. Нужно сказать, что в момент самоубийства человек в большинстве случаев находится в состоянии психического расстройства, психика его опрокинута и нарушено психическое равновесие, функция различения реальности поражается, иерархия ценностей извращена и какая-нибудь одна, совсем не главная ценность делается единственной и абсолютной, сознание замутнено и память о слишком многом и важном парализована и удерживает лишь *idee fixe* самоубийцы.

Самоубийство есть, прежде всего, страшное сужение сознания, бессознательное заливают поле сознания. В бессознательном же человеке живет не только мощный инстинкт жизни, но и инстинкт смерти. Фрейд даже делает из этого целую метафизику. Ошибочно думать, что человек стремится только к жизни и самосохранению, он стремится также к смерти и самоистреблению. Душевный кризис, в котором какой-либо аффект целиком овладевает человеком, легко отдает человека во власть бессознательного инстинкта смерти и самоистребления. Еще древние говорили, что Гадес и Дионис – один и тот же бог. Оргийная, дионистическая стихия избыточной жизни легко переходит в упоение гибелью и смертью. Это гениально выражено Пушкиным в «Пире во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Сила жизни и сила смерти в какой-то точке не только соприкасаются, но и отождествляются. Потому так сближается между собой любовь и смерть. Любовь Тристана и Изольды, Ромео и Джульетты неразрывно связана со смертью. И такова именно любовь юности, Человек способен осознать притяжение смерти как величайшую сладость, как разрешение всех мучительных противоречий жизни, как реванш, взятый над жизнью, и как возмездие жизни. Соотношения между сознанием и бессознательным очень сложны в человеке. Это достаточно выяснено современной психопатологией и психологией, Фрейдом, Адлером, Юнгом. Душевные и нервные болезни порождены конфликтом между сознанием и бессознательным, являются результатом утеснения цензурой сознания каких-либо сфер бессознательного. В момент кризиса души установившееся соотношение между сознанием и бессознательным наруша-

ется и оправдывается, бессознательное вступает в свои права. Традиционное для данного человека сознание – социальное, нравственное и даже религиозное – оказывается бессильным перед напором бессознательного: непосредственные инстинкты жизни, сила страстей, любви, мести, воли к преобладанию, сила страдания заявляют о своих правах и опрокидывают запрет сознания. Душевный кризис, порожденный столкновением бессознательного с сознанием, мгновенно ведет к расстройству психических функций, он опрокидывает неустойчивое психическое равновесие, которое покупалось полным подавлением бессознательного. Инстинкт истребления и смерти, идущий от темного бессознательного в момент бурных душевных кризисов, не может быть побежден установившимися, традиционными формами сознания, которые оказываются слишком слабым, бессильным средством. Не сила сознания, которая часто калечила жизнь, а сила сверхсознания, благодатная духовная сила может спасти от темных инстинктов бессознательного. Спасительно в этих случаях не традиционное религиозное сознание со своими законами и запретами, а сама благодатная сила Божья. Бессознательный инстинкт смерти, который есть одно из проявлений оргийного инстинкта жизни, непобедим слишком трезвым, рассудочным, размеренным сознанием. Он победим лишь благодатной силою Креста и воскресения, к которому Крест ведет. Психологию самоубийства можно определить как угашение сознания, порождающего мучения, и возврат в лоно бессознательного, как восстание против рождения из материнского лоно жизни, породившего сознание. Но кроме бессознательного или подсознательного есть еще и сверхсознание. Кроме притяжения вниз есть еще притяжение вверх. Инстинкт смерти есть инстинкт бессознательной жизни. Достоевский в «Записках из подполья» говорит, что страдание – единственная причина сознания. Освобождение от сознания представляется освобождением от страдания. Также ищут освобождения от несчастного, мучительного сознания в пьянстве и наркотиках. Но сознание есть путь к сверхсознанию, к высшей духовной жизни, к жизни в Боге через крест и страдание. Весь вопрос в том, чтобы человек нашел в себе силы вынести сознание с сопровождающим его страданием. Когда человек прибегает к морфину, кокаину, опиуму, он не выносит мучительности сознания и идет от сознания вниз, а не вверх. Это есть частичное самоубийство. В душевных кризисах этот вопрос особенно обостряется и низшая бездна бессознательного притягивает человека. Притягивающая сладость смерти, как соблазн, подстерегающий человека в иные катастрофические минуты, есть сладость угашения мучительного сознания, есть восторг соединения с безликим подсознательным. Это есть отказ от личности, слишком дорогостоящей, и соединение с безликой стихией. Есть особый соблазн гибели, упоение гибелью как трагически прекрасной. Это – соблазн, глубоко противоположный религии Креста и Воскресения, отказ не только от личного бытия, но и от свободы, противление Божией воле, чтобы человек через сознание восходил к высшей, сверхсознательной жизни, через Крест к Воскресению. Бессознательный инстинкт смерти должен быть претворен в вольное принятие Креста жизни, смысла страдания, т. е. из инстинкта реакционного, обращенного назад, претворен в инстинкт творческий, обращенный вперед. Человек есть больное существо, в его бессознательном есть страшная тьма. Это открывает современная психология. Этому учит и христианство, когда говорит о первородном грехе. Воля к самоубийству, к самоистреблению свидетельствует о болезненном конфликте бессознательного и сознания. Исцеление же приходит из высшей сферы, стоящей и над бессознательным и над обыденным сознанием.

IV

Самоубийство как явление индивидуальное побеждается христианской верой, надеждой и любовью. Инстинкт смерти и самоистребления, вера, надежда и любовь претворяют в несение Креста жизни, Все убеждает нас в том, что личность может достойно существовать и охранять себя от жажды самоистребления, если она имеет сверхличное содержание, если она живет не

только для себя и во имя себя. Нельзя жить только для поддержания жизни и для наслаждения жизнью. Это есть зоологическое, а не человеческое существование. Жизнь приносит неисчислимое количество страданий и разочаровывает в возможности осуществить личные цели жизни и использовать жизнь для личного удовлетворения. Отрицание сверхличного содержания жизни оказывается отрицанием личности. Личность существует только в том случае, если существует сверхличное, иначе она растворяется в том, что ниже ее. Нельзя искать только самого себя и стремиться только к себе, искать можно только того, что выше меня самого, и к нему стремиться. Жизнь делается совершенно плоской с того момента, как я самого себя поставил выше всего, на вершине бытия. Тогда действительно можно покончить с собой от тоски и уныния. Нужно, чтобы было куда восходить, чтобы были горы, тогда только жизнь приобретает смысл. Когда человек сознает в себе сверхличное содержание жизни, он сознает свою принадлежность к великому целому и самое маленькое в жизни связывает с великим. Какой бы маленькой не казалась жизнь человека, он может сознавать свою принадлежность к Церкви, к России, к великим сверхличным организмам, к великим ценностям, осуществляемым в истории. В эпохи исторических процессов и переломов, когда целые социальные слои отрываются от исторических тел, в которых они родились и жили, самоубийство может сделаться социальным явлением. И вот тогда-то особенно важно сознание сверхличных содержаний и ценностей жизни. Это предполагает пробуждение духовной жизни и особенную ее напряженность. В спокойные, устойчивые времена люди естественно живут в быту, связаны с организмами сверхличными, с родовыми семьями, сословиями, с традиционными национальными культурами. В такие времена религия бывает нередко исключительно бытовой, наследственной, традиционной и не предполагает горения духа, личных духовных усилий; патриотизм тоже бывает бытовым, традиционным, определяющимся внешним положением человека. Не такова для русских эпоха, в которую мы живем. Все исторические тела разлагаются, быт потерял всякую устойчивость и все пришло в бурное движение. Жизнь требует огромных духовных усилий. Нужна духовная сила и напряженность, чтобы верить, что жива Россия и русский народ, и что сам принадлежишь к нему, хотя бы ты был выброшен в Африку или Австралию. Нужно горение духа, чтобы верить, что Православная Церковь, гонимая и утесняемая, ослабленная в своей организации, переживающая смуты и распри, в действительности возрождается и просветляется, становится духовно выше Церкви, которая была торжествующей, государственной, внешне блестящей, в парче и золоте. Нужны личные духовные усилия, чтобы устоять в буре и не быть снесенным ветром. Бывают внешне благополучные эпохи, когда во времени есть устойчивость и всякий естественно занимает в нем прочное положение. Но бывают эпохи катастрофические, когда во времени нет устойчивости и прочности, когда не на что опереться, когда почва колеблется под ногами. И вот в такие эпохи, более значительные, чем эпохи спокойные, прочность и крепость человека определяются лишь его духовной вкорененностью в вечности. Человек сознает, что он принадлежит, не только времени, но и вечности, не только миру, но и Богу. В такие эпохи раскрытие в себе духовной жизни есть вопрос жизни или смерти, вопрос спасения от гибели. Удержатся лишь те, которые раскроют в себе большую духовность. Сама вера в такие эпохи предполагает большие усилия личного духа и потому качественно выше веры бытовой и наследственной. Безумно в такие эпохи думать только о себе и о своих личных целях. Это есть путь самоистребления. Каждый несет страшную ответственность, он или утверждает жизнь, возрождение, надежду или смерть, разложение, отчаяние. Каждый русский сейчас в безмерно большей степени несет в себе Россию, чем нес тогда, когда он мирно жил в России. Тогда Россия давалась ему даром, теперь же она приобретает горением духа. Также каждый православный теперь в безмерно большей степени отвечает за Церковь и несет в себе судьбу Церкви, чем когда он мирно жил в Церкви, охраняемой государством и традиционным бытом. К каждому предъявляются сейчас безмерно большие духовные требования, чем раньше. Нельзя уже быть тепло-прохладным, бытовым христианином, полу-христиани-

ном, полу-язычником, нужно выбирать, проявлять жертвостопособность, быть духовно горячим. В мире происходит огромная борьба сил христианских и антихристианских и никто не может уклониться от участия в ней. Мы живем в очень трудное, но гораздо более интересное время, чем эпохи предшествующие. Многие старое изжито и безвозвратно прошло, старая жизнь не вернется никогда и нельзя этого желать. Но пробуждается новый интерес к мировой и человеческой жизни, интерес с высоты и из глубины, из Бога и через Бога. Мы получаем возможность из вечности смотреть на время и вечность во времени утверждать. Теперь не время опускаться, разлагаться, предаваться отчаянию, теперь время подыматься, подтягиваться, время верить и надеяться, время вспоминать, что человек есть духовное существо, предназначенное для вечности.

Мы не должны сурово и беспощадно судить самоубийцу. Да и не нам принадлежит суд. Но нельзя идеализировать самоубийство. Не самоубийцы, а самоубийство должно быть осуждено, как грех, как духовное падение и слабость. Самоубийство есть измена Кресту. В то мгновение, когда человек убивает себя, он забывает о Христе, и, если бы он вспомнил, то рука бы его дрогнула, и он не нанес бы себе смертельного удара. Он сохранил бы свою жизнь, потому что решил бы ею пожертвовать. Он хотел убить себя, потому что не хотел пожертвовать своей жизнью, потому что думал лишь о себе и утверждал лишь себя. Самоотречение и самопожертвование во имя сверхличной святости и есть явление прямо противоположное самоубийству. Жить кажется человеку труднее, чем умереть, и он выбирает более легкое. В жизни все минуты трудны и требуют усилий, самоубийство же предполагает лишь одну трудную минуту. Но иллюзия и самообман самоубийства основаны на том, что оно представляется окончательным освобождением от времени, несущего страдания и муки. Самоубийца верит, что страданий больше не будет. И это покупается тем, что самоубийство есть отказ от бессмертия. Но минута, в которую совершается самоубийство, есть последняя минута лишь нашего времени, за ней следует целая вечность и суд. И если бы человек, решивший убить себя, почувствовал себя стоящим перед вечностью, перед судом вечности, то решимость его поколебалась бы. Самоубийца надеется уничтожить не только время, но и вечность. И время и вечность связаны для него с сознанием, которое он хочет окончательно угасить. Но онтологически уничтожить себя невозможно, можно только перевести себя в другое состояние. Самоубийца не может долгие вынести муки пребывания в себе, в своей тьме, в своей замкнутости. Он надеется вырваться из себя через убийство себя. Но в действительности, он еще глубже входит в себя, в дурную бесконечность мучения, которое продолжается после акта самоубийства. Человек лишь временно находится во времени, он есть существо, предназначенное для вечности, и в нем есть вечное, неистребимое начало, которое не может быть уничтожено убийством и самоубийством. Можно угасить наше сознание и вернуться в лоно бессознательного. Но это угасание сознания не вечное, а временное. Сознание вновь пробудится и каким тяжким может показаться это пробуждение. Ученик Фрейда Ранк написал очень интересную книгу о «травме рождения». Он доказывает, что человек рождается в ужасе и страхе. он задыхается, отрываясь от материнского лона, и последствия этой травмы остаются на всю жизнь, она является источником и мифотворчества человека и болезней его. Ранк думает, что у человека остается желание вернуться в материнское лоно. Жизнь в мире страшит человека, первичный страх рождения не проходит. Я говорил уже о бессознательном инстинкте смерти в человеке. Но ужас в том, что возврат самоубийцы в лоно бессознательного может сопровождаться еще большим страхом, чем рождение. Расчет самоубийцы на избавление основан на грубых материалистических предположениях, и мы сталкиваемся тут с основным вопросом о смысле жизни.

Инстинкт самоубийства есть регрессивный инстинкт, он отрицает положительное нарастание смысла в мировой жизни. Как мы должны относиться к сознанию, к личности, к свободе? Являются ли они ценностями, от которых ни в коем случае нельзя отказаться? Самоубийца подвергает сомнению ценность сознания, личности, свободы. Жизнь бессознательная, безлич-

ная, темно-утробная, определяющая притяжением смерти и небытия, лучше жизни сознательной, личной, свободной, ибо сознание порождает страдание, ибо личность выковывается в страдании, ибо свобода духовно трудна и трагична. Человек изнемогает и отрекается от великой задачи до конца быть личностью, быть свободным существом, возрастая в своем сознании к сверхсознанию. Он от страха страданий готов вернуться назад. Нужно помнить, что сознание наше есть некоторая середина бытия, а не вершина, оно есть лишь путь к вершине, к сверхсознанию, к обожению человеческой природы. И стихия бессознательного, которая всегда шире и глубже сознания, должна через работу сознания, понимающего свои границы, перейти в сферу сверхсознательного, Божественного бытия. Это не значит, конечно, что все бессознательное может и должно целиком перейти в сознательное. Всегда останется бессознательное лоно жизни. Но великая задача движения вверх не допускает отречения от бытия личности сознательной и свободной. Нужно до конца выдержать испытание, остаться свободной и сознательной личностью, не допускать уничтожения ее стихией досознательного, зовущего назад. В каждом человеке есть человек архаический, унаследованный от древнего, первобытного человечества, есть дитя и есть сумасшедший. Возникновение сознания как пути к сверхсознанию, к личности, как носителю сверхличных ценностей, духовной свободы, высшего достоинства человека и знака его богоподобия, есть неустанная борьба с регрессивным движением возврата человека к первобытно-архаическому инфантильному состоянию, борьба против разложения сознания в безумии, которое совсем не означает возникновения сверхсознания, как иногда думают. Быть человеком, быть личностью, быть духовно свободным, не допускать разложения своего сознания от страха противоречий и страданий жизни, есть героическая задача, есть осуществление в себе образа и подобия Божия. Самоубийство есть отступничество от этой задачи, отказ быть человеком, возврат к дочеловеческому состоянию. Жизнь есть восхождение, самоубийство есть опускание, ниспадание. Великая иллюзия и обман самоубийства есть упование, что самоубийство есть освобождение, освобождение от муки жизни, от бессмыслицы жизни. В действительности самоубийство и есть прежде всего и больше всего потеря свободы, которая всегда зовет к восхождению, к победе над миром. И в людях, склонных к самоубийству, нужно прежде всего пробудить достоинство свободных существ, детей Божьих, призванных к высшей жизни. Самоубийца не только сам отказывается до конца быть человеком, но и отравляет окружающую атмосферу ядом небытия. Быть человеком и есть великая задача, поставленная перед нами Творцом. Быть человеком значит быть личностью, быть духовно свободным, возрастая в своем сознании, быть творцом. И величайшая тайна жизни заключается в том, что все в человеке должно быть преодолено высшим состоянием и предполагает высшее. Человек становится человеком, преодолевая себя, личность предполагает существование сверхличных ценностей, истины, добра, красоты и возрастание к сверхличному бытию, сознание предполагает существование сверхсознания, душа живет и движется духом и духовной жизнью. Человек существует потому, что есть Бог и что он может к Богу двигаться. Но преодоление всякой ограниченности, ограниченности сознания, ограниченности личности, ограниченности всего человеческого не может быть достигнуто движением вниз и назад, оно достигается лишь движением вверх и вперед. Вопрос о самоубийстве есть вопрос о религиозном смысле жизни. Самоубийство его отрицает. Беспомощны, наивны и безумны те социологи-позитивисты, которые думают, что общество и общественные цели могут заменить Бога и божественные цели жизни и дать человеческой личности смысл жизни. Мысль об обществе и об общественном долге сама по себе никогда и никого не может остановить от самоубийства. Что может значить отвлеченная идея для человека, для которого померкло все в мире? Только память о Боге как о величайшей реальности, от которой некуда уйти, как об источнике жизни и источнике смысла, может остановить от самоубийства. От общества можно уйти в смерть, в небытие и общество бессильно над вечной судьбой человека. От Бога же и через смерть уйти нельзя и некуда, нельзя избежать Божьего суда и Божьего определения вечных судеб человека. Само отношение

человеческой личности к обществу получает смысл через отношение ее к Богу. Только Бог дает смысл жизни. И борьба против самоубийства, против самоубийственных настроений есть борьба за религиозный смысл жизни, борьба за образ и подобие Божие в человеке.

Париж: YMCA Press, 1931. (Клепинина, № 27)

Истина Православия

Христианский мир мало знает Православие. Знают только внешние и по преимуществу отрицательные стороны Православной Церкви, но не внутренние, духовные сокровища. Православие было замкнуто, лишено духа прозелетизма и не раскрывало себя миру. Долгое время Православие не имело того мирового значения, той актуальной роли в истории, какие имели Католичество и Протестантизм. Оно оставалось в стороне от страстной религиозной борьбы ряда столетий, столетия жило под охраной больших империй (Византии и России) и хранило вечную истину от разрушительных процессов мировой истории. Для религиозного типа Православия характерно то, что оно не было достаточно актуализировано и выявлено во вне, не было воинственно, но именно потому небесная истина христианского откровения наименее в нем исказилась. Православие и есть форма христианства наименее искаженная в существе своем человеческой историей. В Православной Церкви были моменты исторического греха, главным образом в связи с внешней зависимостью от государства, но само церковное учение, самый внутренний духовный путь не подверглись искажению.

Православная Церковь есть, прежде всего, Церковь предания в отличие от Церкви Католической, которая есть Церковь авторитета, и церковей протестантских, которые суть церкви личной веры. Православная Церковь не имела единой внешне-авторитарной организации, и она неизбежно держалась силой внутреннего предания, а не внешнего авторитета. Она оставалась наиболее связанной с перво-христианством из всех форм христианства. Сила внутреннего предания в Церкви есть сила духовного опыта и преемственности духовного пути, сила сверхличной духовной жизни, в которой всякое поколение выходит из сознания самодовольства и замкнутости и приобщается к духовной жизни всех предыдущих поколений вплоть до Апостолов. В предании я имею один опыт и одно ведение с Апостолом Павлом, с мучениками, со святыми, и со всем христианским миром. В предании мое знание есть не только знание личное, но и сверхличное, и я живу не в отдельности, а в теле Христовом, в едином духовном организме со всеми моими братьями во Христе.

Православие есть, прежде всего, ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики для него не столько те, кто исповедует ложную доктрину, сколько те, кто имеет ложную духовную жизнь и идет ложным духовным путем. Православие есть, прежде всего, не доктрина, не внешняя организация, не внешняя форма поведения, а духовная жизнь, духовный опыт и духовный путь. Во внутреннем духовном делании видит оно сущность христианства. Православие есть наименее нормативная форма христианства (в смысле нормативно-рациональной логики и морального юридикзма), и наиболее духовная его форма. И эта духовность и сокровенность Православия нередко бывали источником его внешней слабости. Внешняя слабость и недостаток проявления, недостаток внешней активности и реализации бросались всем в глаза, духовная же его жизнь и духовные его сокровища оставались сокровенными и незримыми. И это характерно для духовного типа Востока в отличие от духовного типа Запада, всегда актуального и выявляющегося во вне, но нередко в этой активности себя духовно истощающего. В мире нехристианского Востока духовная жизнь Индии особенно сокровенна от внешнего взора и не актуализируется в истории. Эта аналогия может быть проведена, хотя духовный тип христианского Востока очень отличается от духовного типа Индии. Святость в мире православном, в отличии от святости в мире католическом, не оставила после себя памятников письменности, она оставалась сокровенной. И это еще причина, почему трудно извне судить о духовной жизни Православия.

Православие не имело своего века схоластики, оно пережило только век патристики. И Православная Церковь и донныне опирается на восточных учителей Церкви. Запад считает это признаком отсталости Православия, замирания в нем творческой жизни. Но факту этому

можно дать и другое истолкование; в Православии христианство не было так рационализировано, как оно было рационализировано на Западе в Католичестве при помощи Аристотеля и воззрений греческого интеллектуализма. Доктрины никогда не приобретали в нем такого священного значения, и догматы не были прикованы к обязательным интеллектуальным богословским учениям, а понимались, прежде всего, как мистические факты. В богословском же и философском истолковании догматов мы оставались более свободными. В XIX веке в России была творческая православная мысль и в ней было проявлено больше свободы и духовного дарования, чем в мысли католической и даже протестантской.

Духовному типу Православия принадлежит изначальный и нерушимый онтологизм, который представлялся явлением православной жизни, и затем уже и православной мысли. Христианский Запад шел путями критической мысли, в которых субъект был противопоставлен объекту, и была нарушена органическая цельность мышления и органичная связь с жизнью. Запад силен сложным развертыванием своего мышления, своей рефлексией и критикой, своим уточненным интеллектуализмом. Но тут и была нарушена связь познающего и мыслящего с первобытием и первожизнью. Познание выводилось из жизни, мышление выводилось из бытия. Познание и мышление не протекали в духовной целостности человека, в органической связанности всех его сил. На этой почве Западом были сделаны великие завоевания, но от этого разложился изначальный онтологизм мышления, мышление не погружалось в глубину сущего. Отсюда схоластический интеллектуализм, рационализм, эмпиризм, крайний идеализм западной мысли. На почве Православия мышление оставалось онтологическим, приобщенным бытию, и это явлено всей русской религиозно-философской и богословской мыслью XIX и XX веков. Православию чужд рационализм и юридизм, чужд всякий норматизм. Православная Церковь не определима в рациональных понятиях, она понятна лишь для живущих в ней, для приобщенных к ее духовному опыту. Мистические типы христианства не подлежат никаким интеллектуальным определениям, они также не имеют признаков юридических, как не имеют признаков и рациональных. Подлинное православное богословствование есть богословствование духовно-опытное. Православие почти не имеет схоластических учебников. Православие сознает себя религией Святой Троицы; не отвлеченным монотеизмом, а конкретным тринитаризмом. В духовной жизни, в духовном опыте и духовном пути отображается жизнь Святой Троицы. Православная литургия начинается со слов: «Благословенно Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа». Все идет сверху, от Святой Божественной Троичности, от высоты Сущего, а не от человека и его души. В Православном представлении нисходит сама Божественная Троичность, а не восходит человек. В западном христианстве гораздо меньше выражена Троичность, оно более христоцентрично и антропоцентрично. Это различие намечается уже в восточной и западной патристике, из которой первая – богословствует от Божественной Троицы, а вторая – от человеческой души. Поэтому Восток раскрывает, главным образом, тайны догмата тринитарного и догмата христологического. Запад же, главным образом, учит о благодати и свободе и об организации церкви. На Западе было большее богатство и разнообразие мысли.

Православие и есть христианство, в котором наиболее раскрывается Дух Святой. Православная Церковь, поэтому и не приняла *filioque*, что видит в этом субординационизм в учении о Духе Святом. Природа Духа Святаго наименее раскрывается догматами и доктринами, но по действию своему Дух Святой нам ближе всего, наиболее имманентен миру. Дух Святой непосредственно действует на тварный мир и преображает тварь. Это учение раскрыто величайшим русским святым Серафимом Саровским. Православие не только существенно тринитарно, но видит задачу мировой жизни в преображении Святой Троицы, и по существу пневматично.

Я говорю все время о глубинах тайн в Православии, а не о поверхностных в нем течениях. Пневматологическая теология, ожидание нового излияния Духа Святаго в мире легче всего возникает на православной почве. Это замечательная особенность Православия: оно, с одной стороны, консервативно и традиционно более, чем Католичество и Протестантизм, но,

с другой стороны, в глубине Православия есть всегда великое ожидание религиозной новизны в мире, излияния Духа Святаго, явление Нового Иерусалима. Почти целое тысячелетие Православие не развивалось в истории; ему чужд был эволюционизм, но в нем таилась возможность религиозного творчества, которая как бы приберегалась для новой, еще не наступившей исторической эпохи. Это выявилось в русских религиозных течениях XIX и XX века. Православие более резко разграничивает божественный и природный мир, Царство Божие и царство кесаря, и не признает тут возможных аналогий, к которым часто прибегает католическая теология. Энергия Божественная действует скрытно в человеке и в мире. Про тварный мир нельзя сказать, что он есть божество, или что он божественен, нельзя и сказать, что он вне-божественен. Бог и божественная жизнь не похожи на мир природный и природную жизнь, тут нельзя проводить аналогии. Бог – бесконечен; природная жизнь – ограничена и конечна. Но энергия божества переливается в природный мир, воздействует на него и просветляет его. Это и есть православное видение Духа Святаго. Для православного сознания учение Фомы Аквината о естественном мире, утверждающее его в противоположении миру сверхестественному, есть уже форма секуляризации мира.

Православие в принципе своем пневматично, и в этом его своеобразие. Пневматичность и есть последовательный, до конца доведенный Тринитаризм. Благодать не есть посредник между сверхестественным и естественным; благодать есть действие Божественной энергии на тварный мир, присутствие в мире Духа Святаго. Именно пневматизм Православия и делает его наименее законченной формой христианства, выявляя в нем преобладание новозаветных начал над началами ветхозаветными. На вершине своей Православие понимает задачу жизни, как стяжание, приобретение благодати Духа Святаго, как духовное преображение твари. И это понимание существенно противоположно законническому пониманию, для которого мир божественный и сверхестественный есть закон и норма для мира тварного и естественного.

Православие, прежде всего, литургично. Оно научает народ и развивает его не столько проповедями и преподаванием норм и законов поведения, сколько самим литургическим действием, в котором дан прообраз преображения жизни. Оно научает также народ образами Святых и внушает культ святости. Но образы святых не нормативны; в них дано благодатное просветление и преображение твари действием Духа Святаго. Эта ненормативность Православия делает его труднее для путей человеческой жизни, для истории, мало благоприятным для всякой организации и для творчества культуры. Сокровенная тайна действия Духа Святаго на тварь не была актуально переведена на пути человеческой жизни.

Для Православия характерна свобода. Эта внутренняя свобода может не замечаться извне, но она повсюду разлита. Идея свободы, как основы Православия, была выявлена русской религиозной жизнью XIX и XX века. Признание свободы совести очень отличает Православную Церковь от Церкви Католической. Но понимание свободы в Православии отличное и от понимания свободы в Протестантизме. В Протестантизме, как и во всей западной, мысли, свобода понимается индивидуалистически, как право личности, охраняющей себя от посягательства всякой другой личности и определяющей себя автономно. Православию чужд индивидуализм, ему свойственен своеобразный коллективизм. Религиозная личность и религиозный коллектив не противостоят друг другу, как внешние друг для друга. Религиозная личность находится внутри религиозного коллектива, и религиозный коллектив находится внутри религиозной личности. Поэтому религиозный коллектив и не является внешним авторитетом для религиозной личности, извне навязывающим личности учение и закон жизни. Церковь не находится вне религиозных личностей к ней противопоставляемых; Она внутри их, и они внутри Ее. Поэтому Церковь не есть авторитет. Церковь есть благодатное единство любви и свободы. Православию чужда авторитарность, потому что эта форма порождает разрыв между религиозным коллективом и религиозной личностью, между Церковью и ее членом. Без свободы совести, свободы духа, нет духовной жизни, нет даже представления о Церкви, так как

Церковь не терпит внутри себя рабов, и Богу нужны лишь свободные. Но подлинная свобода религиозной совести, свобода духа раскрывается не в изолированной, автономной личности, самоутверждающейся в индивидуализме, а в личности, сознающей себя в сверхличном духовном единстве, в единстве духовного организма, в Теле Христовом, то есть в Церкви. Моя личная совесть не внеположна и не противоположна совести сверхличной, совести церковной: она раскрывается лишь внутри церковной совести. Но без активного, духовного углубления моей личной совести, моей личной духовной свободы не осуществляется жизнь Церкви, ибо эта жизнь Церкви не может быть внешней для личности, навязанной ей. Пребывание в Церкви требует духовной свободы не только в первый момент поступления в Церковь, что признает и Католичество, но и в течении всей жизни. Свобода Церкви в отношении к государству всегда была в опасности, но свобода внутри Церкви всегда была в Православии. В Православии свобода сочетается органически с соборностью, то есть с действием Духа Святого на религиозный коллектив, которое присуще Церкви не только во времена Вселенских Соборов, но и всегда. Соборность же в Православии, которая и есть жизнь церковного народа, не имела внешних юридических признаков, она имела лишь внутренние, духовные признаки. Даже Вселенские Соборы не обладали внешним непререкаемым авторитетом. Непогрешимость авторитета признавалась лишь за церковным целым, на протяжении всей ее истории, и носителем и хранителем этого авторитета являлся весь церковный народ. Вселенские Соборы обладали авторитетом не потому, что они соответствовали внешним юридическим признакам легальности, а потому, что церковный народ, вся церковь признала их Вселенскими и подлинными. Лишь тот Вселенский Собор подлинный, в котором произошло излияние Святого Духа; излияние же Духа Святого не имеет внешних юридических критериев, оно узнается церковным народом по внутренним духовным свидетельствам. Все это указывает на не-нормативный и не-юридический характер Православной Церкви.

Вместе с тем православное сознание понимает Церковь наиболее онтологически, то есть видит в Церкви, прежде всего не организацию и учреждение, не просто общество верующих, а религиозный духовный организм, мистическое Тело Христово.

Православие космичнее западного христианства. Ни в Католичестве, ни в Протестантизме не была достаточно выражена космическая природа Церкви, как Тела Христова. Западное Христианство преимущественно антропологично. Но Церковь есть также охристовленный космос; в ней подвергается воздействию благодати Духа Святого весь тварный мир. Явление Христа имеет космическое, космогоническое значение; оно означает как бы новое творение, новый день миротворения. Православию наиболее чуждо юридическое понимание искупления, как разрешения судебного процесса между Богом и человеком, и более свойственно онтологическое и космическое его понимание, как явления новой твари и нового человечества. Центральной и верной идеей восточной патристики была идея *theosis*'а, обожения человека и всего тварного мира. Спасение и есть обожение. И обожению подлежит весь тварный мир, весь космос. Спасение есть преобразование и просветление твари, а не судебное оправдание. Православие обращено к тайне Воскресения, как к вершине и последней цели Христианства. Поэтому центральным праздником в жизни Православной Церкви является праздник Пасхи, Светлое Христово Воскресение. Светлые лучи Воскресения пронизывают православный мир. В православной литургике праздник Пасхи имеет безмерно большее значение, чем в Католичестве, где вершина – праздник Рождества Христова. В Католичестве мы, прежде всего, встречаем Христа Распятого, в Православии же – Христа Воскресшего. Крест есть путь человека, но идет он, как и весь мир, к Воскресению. Тайна Распятого может заслонить собой тайну Воскресения. Но тайна Воскресения есть предельная тайна Православия. Тайна же Воскресения не только человеческая, но и космическая. Восток всегда космичнее Запада. Запад же человечнее; в этом его сила и значение, но также и его ограниченность. На духовной почве Православия возникает стремление ко всеобщему спасению. Спасение понимается не только

индивидуально, но и соборно, вместе со всем миром. И из недр Православия не могли бы раздаться слова Фомы Аквината, который сказал, что праведник в раю будет наслаждаться муками грешника в аду. Также на почве Православия не могло возникнуть учение о предопределении, не только в форме крайнего кальвинизма, но и в форме представлений Блаженного Августина. Большая часть восточных учителей церкви, от Климента Александрийского до Максима Исповедника, были сторонниками апокатастасиса, всеобщего спасения и воскресения. И это характерно для современной русской религиозной мысли. Православная мысль никогда не была подавлена идеей божественной справедливости и она никогда не забывала идеи божественной любви. Главное, она не определяла человека с точки зрения божественной справедливости, а идеи преобразования и обожения человека и космоса.

Наконец последнюю и важную черту в Православии нужно видеть в его сознании эсхатологичности. В недрах Православия более сохранилась первохристианская эсхатологичность, ожидание второго пришествия Христа и грядущего Воскресения. Эсхатологичность Православия означает меньшую привязанность к миру и земной жизни и большую обращенность к небу и вечности, то есть к Царству Божьему. В христианстве западном актуализация христианства в путях истории, обращенность к земной устроенности и земной организации заслонила собою тайну эсхатологии, тайну второго пришествия Христова. В Православии, именно вследствие его меньшей исторической активности, сохранилось великое эсхатологическое ожидание. Апокалиптическая сторона христианства осталась наименее выраженной в западных формах христианства. На Востоке же, на православной почве, особенно на почве русского Православия, возникли течения апокалиптические, ожидание новых излияний Духа Святаго. Православие наиболее традиционная, наиболее консервативная форма христианства, ибо охраняло древнюю истину, но в нем же заложена возможность наибольшей религиозной новизны, не новизны человеческой мысли и культуры, которая так велика на Западе, но новизны религиозного преобразования жизни. Примат всей целостной жизни над дифференцированной культурой был всегда особенно характерен для Православия. На почве Православия не создано той великой культуры, которая создана на почве Католичества и Протестантизма. И быть может, поэтому это так было, что Православие устремлено к Царству Божьему, которое должно явиться не в результате последствий исторической эволюции, а в результате таинственного преобразования мира. Не эволюция, а преобразование характерно для Православия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.